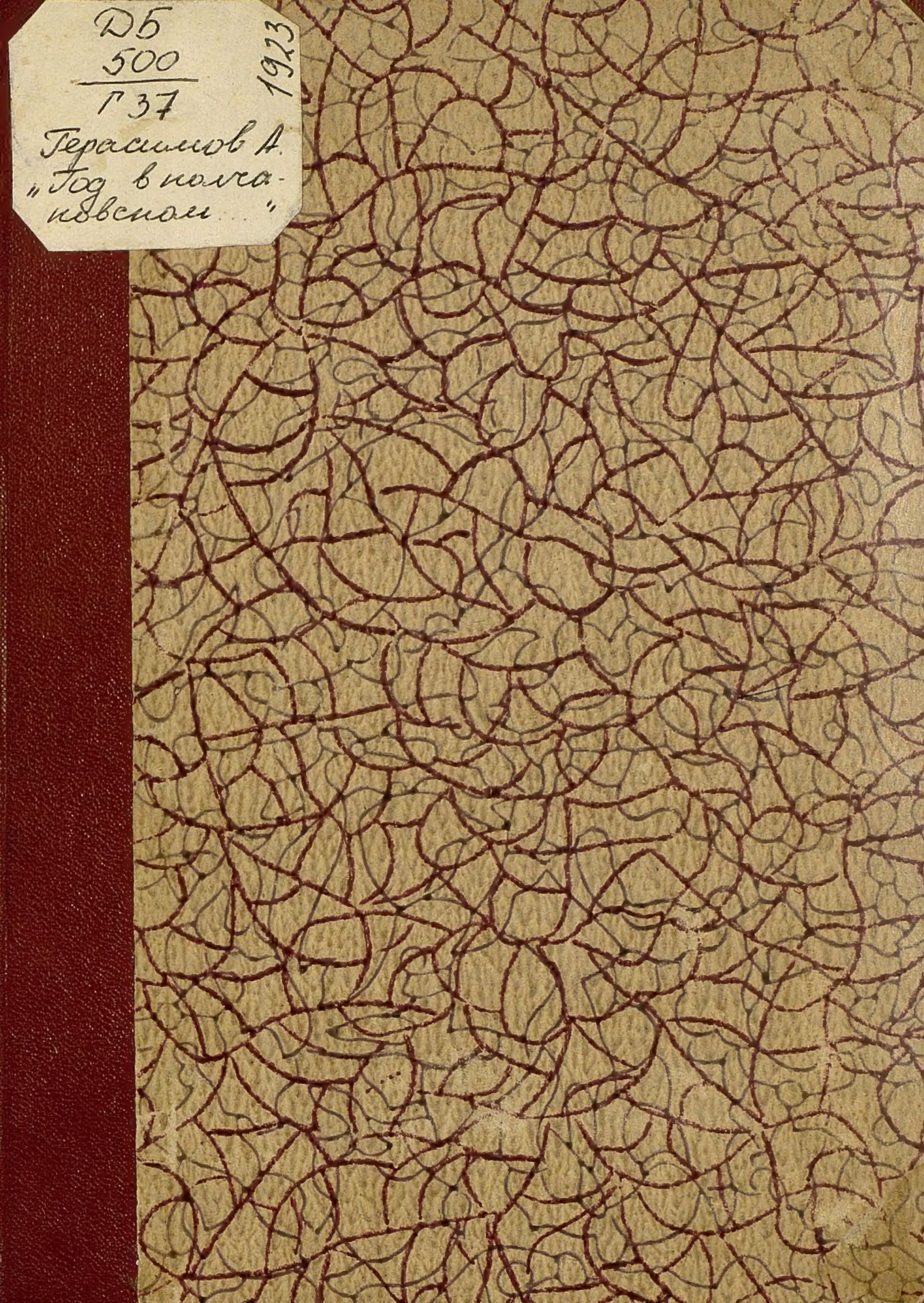
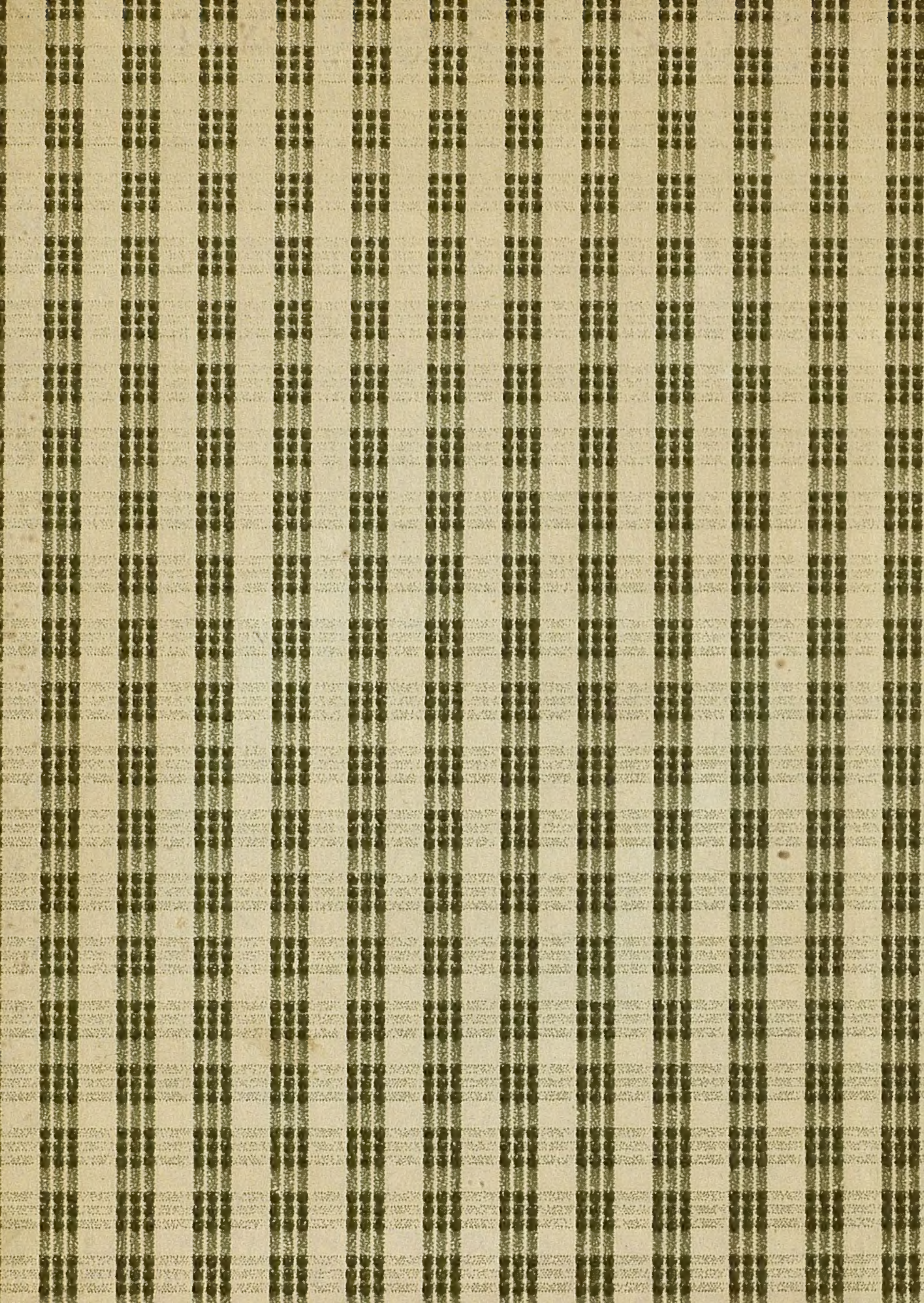
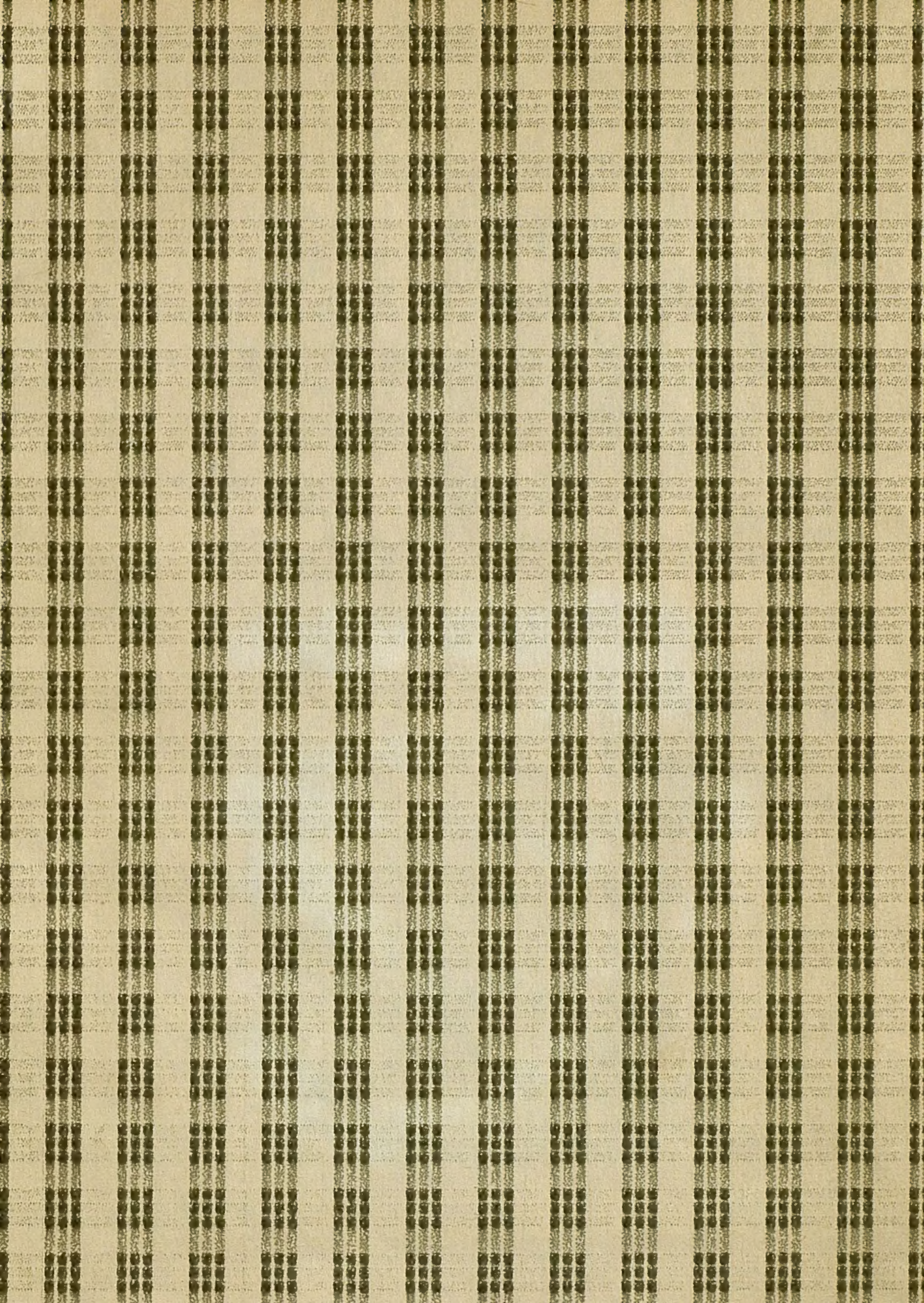

ДБ
500
Г 37
1923
Герасимов А.
„Год в полча-
повском … “





АНАТ. ГЕРАСИМОВ.

ПОД В КОЛЧАКОВСКОМ ЗАСТЕНКЕ



УРАЛКНИГА 1923.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ИСТПАРТ ПРИ УРАЛБЮРО Ц. К. Р. К. П. (б.).

Анат. ГЕРАСИМОВ.

ГОД В КОЛЧАКОВСКОМ ЗАСТЕНКЕ.





ЕКАТЕРИНБУРГ, 1923.

Обложка работы
художника А. Зубова.

Набор под управлением
зав. кн. отд.
Перчаточникова М. П.

Метранпаж
т. Антипин Н. И.

Печать под наблюден.
т. Полетаева П. В.

Книга отпечатана в
тип. „Гранит“ Акц.
О-ва Уралкнига, в количестве 3.000 экз.

Уралобллит № 1863. Заказ № 2083.

Дневник заключенного

27 июля 1918 г.—14 июля 1919 г.

Моим дочерям Марианне
и Валерии Герасимовым
посвящаю.

«Бывали хуже времена,
Но не было подлей».
НЕКРАСОВ.

Пользуясь богатым опытом прежнего скитания по царским тюрьмам, мне удалось с большим трудом сохранить дневник, который я писал урывками в колчаковском застенке —иначе в Екатеринбургской центральной тюрьме № 1 (При Колчаке этих „номеров“ развелось множество).

При частых, порой внезапных, обысках приходилось прибегать ко всякого рода ухищрениям, чтобы спасти дневник: обертывать листки его вокруг тела и забинтовывать их, прятать в сапоги, в печку под пепел и т. д. И дневник удалось сохранить до прилета на Урал Красных Орлов, мощным взмахом своих крыльев разбивших тяжелые цепи, в которых без малого год томило нас „славное“ колчаковское правительство.

Горячее спасибо т. т. бойцам Красной армии—они воистину воскресили, как из мертвых, нас немногих, уцелевших от сыпного тифа, свирепствовавшего в переполненных екатеринбургских тюрьмах, от избиений, карцеров и расстрелов...

Надо отдать справедливость об‘единенному чехословацко-колчаковскому правительству: оно, без предварительного опыта, сумело сделать из тюрьмы № 1 такую гнусную клоаку и так отравить существование своих „пленных“, что перещеголяло царских палачей—тюремщиков.

Автору „дневника“ пришлось погостить — иной раз подолгу — во многих николаевских тюрьмах; колчаковский застенок оказался гнусней их всех.

Теперь, в 6-ю годовщину Великого Красного Октября, принесшего с собой неминуемую гибель всякой колчаковщине, хотя бы временно и овладевшей позициями, считаю своевременным отдать в печать чудом уцелевший дневник и некоторые документы, достаточно ярко рисующие палачество и издевательство колчаковцев над заключенными и хамское прислужничество им чиновничьей и буржуазной сволочи.

* * *

Получив от наробраза, где я заведывал театральным отделом, месячный отпуск, я поселился на даче в Шарташе.

На третий день по приходе белых, был (по доносу) арестован патрулем чехо-словаков.

Насколько нежданные союзники белых, почти не владеющие русским языком, были „не в курсе дела“, видно из того, что они, арестовав меня и усадив на извозчика, не знали, куда везти.

И мне самому пришлось помогать им отыскать „штаб белой армии“, занявший, как оказалось, нижний этаж советского дома (бывш. коммерч. собрание).

В импровизированном „штабе“ ликование и оживление: как всегда бывает в взбаламученном море, мусор выплыл наверх. Каждое ничтожество желает показать себя. Тут и спекулянты, и любители-доносчики и воспрянувшие духом царские офицеры с погонами и орденами. Один из них, увидя меня под конвоем, завопил:

— А, знаю... Стерегите его — это второй Голощекин.

То и дело вводят новых арестованных.

Слышу слова одного из них, юноши, на вид красноармейца:

— Что это, протестует он, не дают даже уведомить семью об аресте.

— А большевики разве давали,—доносится ответ. Бросали в тюрьму безо всяких.

— Но ведь я не большевик, а...

— Левый эсер, что-ли? Одна сволочь...

После каких то записей и опросов, ведут наверх, на хоры клуба и здесь встречаю знакомых, как и я не успевших покинуть Екатеринбург, или не ожидавших ареста.

Между ними народный судья Штейнгель, проявивший себя в тюрьме образцовым товарищем, мотивы ареста и заключения которого очень характерны.

Когда-то т. Штейнгелю пришлось разбирать дело некоего Ябельса, одного из наблюдателей обсерватории, обвинявшегося в том, что он не держал на привязи свою громадную собаку, искусавшую нескольких граждан.

Дело кончилось тем, что г. Ябельс был приговорен к штрафу, а собаку было предложено держать на привязи. Почтенный астроном не забыл этого и при появлении белых донес на Штейнгеля, как на ярого большевика.

Долго томили т. Штейнгеля в тюрьме № 1 за ябелевскую собаку и хотя дело без улик создать не смогли, но в конце концов расстреляли во время так называемой „эвакуации“.

Аресты шли, видимо, непрерывно и к концу дня на хорах стало необычайно тесно, душно и стоял несмолкаемый ближе шум от разговоров.

Конечно, никаких коек поставлено не было и на ночь пришлось располагаться на грязном полу и только немногие „счастливцы“ пользовались оказавшимися здесь канцелярскими столами.

Чтобы было мягче спать, некоторые стлали на столы извлеченные из шкафа старые советские дела, заменявшие тюфяк.

— Я не только стою—я сплю на советской платформе, сострил кто-то.

Тяжелое впечатление, помнится, оставил один штрих в общей картине: на ночь сторожить нас поставили двух юнцов—гимназистов, вооруженных винтовками, с которыми они не умели даже как следует обращаться.

В одном из них узнал хорошо знакомого мне мальчугана.

Увлеченным в мутный поток подросткам, видно, было как-то неловко в роли тюремщиков.

Ранним утром—около 5 часов—подняли нас на ноги и приказали готовиться итти.

Куда—не говорили...

После многократных записей, перекличек и проверок разбили на две партии: первую увели в тюрьму, вторую—24 человека, в которой оказался и пишущий эти строки—в земский арестантский дом. Построили в шеренги, скомандовали и повели.

В арестном доме.

Преддверие „настоящей тюрьмы" — арестный дом—оказался достаточно отвратительным.

Помещавшийся в глубине Сенной площади двух-этажный дом этот на вид был благообразен, но внутри—мерзость и запустение.

Нас поместили в камерах нижнего этажа. К приему арестованных, в частности для ночлега, здесь также ничего не было приготовлено: большой стол и две длинных скамейки—вот вся меблировка.

Спать предоставлялось на полу. Администрация „дома“ возглавлялась пожилым смотрителем, который избегал всяких об'яснений с заключенными. Питание состояло из $^1/_2$ фун. хлеба и кипятка утром и вечером. И тем, у кого не было с собой денег (покупать с'естное разрешалось), приходилось голодать.

Состав партии, как и во всех тогдашних домах заключения, поражал своей пестротой – да и не мудрено: хватали и бросали в тюрьмы кого попало и по чьим угодно доносам и „советам“, по личным счетам и т. д. Здесь в арестном доме я увидел и уголовных типов, заражавших воздух сплошным сквернословием, и спекулянтов, и мирных обывателей, арестованных по оговору соседа и проч.

Потянулись томительные дни в душной, тесной и все более и более загрязнявшейся камере. Узников все прибавлялось.

Сидели мы без прогулок, без свиданий в полном неведении о том, что творится за стеной. Приезжал как-то „уполномоченный следственной комиссии“, но на все вопросы о поводах к аресту и о дальнейшей судьбе арестованных отвечал молчанием.

Все это, а главное, голодное питание и неизвестность будущего, вызвало было вспышку протеста и предложение — подать коллективное заявление и об'явить голодовку, но проект поддержан не был.

Из достопримечательностей арестного дома, показывали нам камеры, где недавно сидели деятели бывшего временного правительства—кн. Львов и Голицын.

Оказался в ардоме ворох книг под именем библиотеки. Но что это были за книги—„Царский Вестник“, „Родина“, приложения к „Родине“ и т. д.

От безмерной скуки брались и за такие книги.

Голодание и все „удобства“ арестного дома, с ночевкой на грязном холодном асфальтовом полу, вызвали у меня вспышку болезни, я сделал заявление о необходимости перевода в тюремную больницу и на другой день утром вкупе еще с несколькими лицами, арестованными, я шествовал под конвоем добровольцев по улицам Екатеринбурга в „центральную тюрьму“.

По дороге в тюрьму.

Нашей небольшой группе пришлось проследовать через весь город.

Одна за другой мелькали знакомые улицы.

Обыватели останавливались и рассматривали нас. У большинства на лицах было простое любопытство, у некоторых, что попарадней одеты, нескрываемое торжество.

Вот и бывш. Покровский проспект, ведущий к тюрьме. Квартира одного из арестованных на том же проспекте. Поровнявшись с ней, он обратился к конвоиру с просьбой:

— Разрешите зайти под вашим присмотром на минуту проститься с семьей.

Новичек-конвоир колебался. Видимо, готов был согласиться, но пошел посоветоваться со „старшим“.

Последовала громогласная резолюция-окрик:

— Ни под каким видом. Да зачем? Жиды тебя видели и расскажут про своего...

Вот наконец и железные ворота, а там и тюремная контора.

Опять опросы, запись, затем распределение по палатам тюремной больницы.

В тюремной больнице.

Громадным преимуществом после арестного дома было то, что в больнице каждому предоставлялась койка и столик. Но, скажу в скобках, этим все преимущества в колчаковском застенке и исчерпывались—все остальное, начиная с ужасного питания и кончая обращением с заключенными тюремных чинов, было безобразным.

Население палаты, в которую я попал, было на первое время незначительным и состояло всего из 3-х лиц, но и состав этих трех был очень пестрым: фельдшер, обвинявшийся в хищении лекарств на 30 тыс. рублей, агент уголовного розыска, и давнишний обитатель тюрьмы—юный любитель чужой собственности.

Скоро палата начала пополняться новыми арестованными больными; в большинстве случаев это были случайно или по личным доносам захваченные люди, нередко уголовный элемент (например, проворовавшийся начальник станции П., сам с циничной откровенностью рассказывавший о своих подвигах), и лишь единицами попадались советские работники и люди с определенной политической физиономией.

В первый же день выяснилась вся неприглядность обстановки тюремного больничного существования.

Начать с того, что лечения совершенно не было: тюремный врач, известный Екатеринбургу Упоров, перед приходом белых сам посидел в той же тюрьме и, освобожденный, заявил, что, как врач, больше в тюрьму не придет.

Другого врача г.г. освободители не позаботились отыскать и в итоге – с месяц тюремная больница, куда приводили серьезно больных, жестоко изувеченных пыткою и тяжело раненых белогвардейцами, оставалась без доктора.

Заменял врача и вершил все дела больницы казенный фельдшер „Кузьмич", злостный спекулянт, вор и заведомый контр-революционер, по милости которого многие угодили из тюрьмы № 1 под расстрел.

Нельзя не упомянуть о способе лечения, практиковавшемся фельдшером: заходил он в палату на минуту, в шапке, пальто и галошах, с небольшим ящичком под мышкой. В этом ящичке и заключалась вся медицина—порошки двух сортов—„покрепче" и „послабее". Эти универсальные порошки и раздавались больным. В результате последние в большинстве случаев отправлялись в парашку.

Просьбы об улучшении пищи, о выдаче тяжело больным молока, о „настоящих лекарствах", упирались в каменную стену равнодушия жирного и наглого негодяя. Вся его фигура красноречиво говорила: наплевать, хоть все вы тут передохните.

С удовлетворением добавлю, что через год, вскоре после прихода красных, фельдшер-черносотенник был отдан под суд и расстрелян.

Питание в тюремной больнице было немногим лучше, чем в арестном доме. Больным давали хлеб, частью белый, но, главное, обед, состоявший из одного горячего, впрочем, был настолько скверным, что, несмотря на голодание, не раз приходилось отказываться от этого блюда-похлебки. Она представляла собой грязную кипяченую воду (без признаков мяса), в которой сиротливо плавали крупинки какого-то серого пшена. Если попадались иногда кусочки мяса, то оно оказывалось тухлым. Раз обнаружены были даже сварившиеся черви, и вся палата отказалась от такого угощения. Протесты, вызовы начальства, повара, не вели ни к чему.

Спасались от голодной смерти только передачами с'естного с воли, конечно, только те, у кого за стенами тюрьмы остались близкие или родные. Но и с передачами колчаковские тюремщики ухитрялись устраивать подлости: некоторые надзиратели, приносившие корзинки и узелки с продуктами, по дороге часть (лучшее притом) забирали себе и до заключенного доходила порой лишь половина принесенного. Конечно, сравнивали записку подающего с содержимым корзины, уличали, ругались, но все было бесполезно.

Присмотревшись первые дни к режиму тюремной больницы, я убедился в том, что „обслуживающие" нас в больнице надзиратели-волки—наследие царизма-старались чем можно, отравить существование „политических". Попадались „доброжелательные" из молодых, готовые даже связать нас с волей (передать записку), но это в виде исключения.

Первое время караул во дворе тюрьмы был „вверен" безусым гимназистам и реалистам, но ряд „происшествий" заставил администрацию снять подающих надежды буржуазных сынков с ответственных постов.

Раз вечером мы услышали гром выстрелов и затем чей-то отчаянный крик.

Поднялся переполох, все бросились к решеткам окон.

Что такое...

Выяснился траги-комический эпизод: юнец-часовой, не умеющий обращаться с винтовкой, ухитрился прострелить себе челюсть и завопил от страха и боли благим матом.

Много смеялись над этим эпизодом.

Но второй, случившийся несколько дней спустя, вызвал уже не смех, а проклятия.

Желающий отличиться мальчишка-охранник заметил, что один из заключенных разговаривает через окно с женской тюрьмой, и без всякого предупреждения прицелился, выстрелил и убил наповал.

На крики возмущения бывалые ответили репликами:

—Что-ж, похвалят еще за усердие. 25 рублей получит, как полагается.

—А к суду не привлекут? Ведь без предупреждения стрелял?

—К суду? С какой стати. Знаешь, ворон ворону глаза не выклюет.

Конечно, так и было. Дело замяли, но учащихся-часовых увели — вероятно нашли, что они черезчур усердствуют.

* * *

Мертвенно, однообразно шли дни, в полной неизвестности—долго ли будут держать за решеткой.

Разнообразие вносили лишь прогулки (15 минут) в тюремном дворе, но и они порой прекращались на неопределенное время.

В палате все прибавлялось политических; доставлялись они в ужасном виде—изувеченные, ограбленные, прошедшие сквозь строй унижений...

Теперь даю место дневнику, который начал недели через три после ареста.

* * *

18-го августа 1918 г.

Решил вести дневник. Хорошо, если удастся сохранить и пронести на волю.

Но когда-то еще эта „воля“. До сих пор никаких сообщений. „Сиди и жди“. Знакомая тюремная тоска...

Попробовал взять что-либо из тюремной библиотеки,— что за окрошка...

Тут „Древние Крестоносцы“—соч. Булгарина, „Гражданин“ кн. Мещерского и. ...... „П. Л. Лавров с Михайловским“. Приходится выбирать и из этой мешанины...

Приводят все новых жильцов в больницу, и в ужасном виде.

Пока доведут до тюрьмы, выпорят нагайками, отнимут все ценное, и у самых ворот белогвардейцы раздевают доставленного ими в тюрьму чуть не до-гола.

Вчера на прогулке встретил тов. Семашко (сидит в корпусе)—в одном белье, босого...

Ночью перевели из корпуса и поместили рядом со мной студента № 1. Вот его „эпопея“:

—Пока вели конные сюда, хлестали нагайками. Отобрали часы и портсигар. А у ворот раздели—сняли все, до сапог включительно.

Сегодня же доставили к нам служащего комиссариата беженцев т. Кронина (военный), с густо забинтованной головой. Сквозь бинты проступала кровь. Сразу койки для К-на в палате не нашлось, и он сел на полу, понурив избитую голову.

Тяжело было смотреть.

За что схвачен? Только за то, что при большевиках заведывал пунктом беженцев (на бывш. Покровском проспекте).

После, когда тов. Кронин устроился на койке и несколько оправился, он рассказал о том, как нещадно бьют арестованных при обысках, по дороге в тюрьму... Пожалуй,

закончил свой рассказ т. Кронин, теперь в тюрьме сидеть безопасней, чем жить на воле.

В соседней палате помещен молодой человек, парикмахер Оленев—тоже с прошибленной в кровь головой...

Арестован по доносу. Ударили прикладом „за возражение“.

С приближением ночи, настроение обитателей становится более нервным.

Доносится гул орудийных выстрелов.

И сейчас же догадки, надежды:

—Красноармейцы наступают... Бой идет...

И наряду с этим нервирующие „вести и слухи“ и разговоры:

—Белые отдали, говорят, приказ—пленных не брать...

—Вчера ночью из корпуса вывели трех—расстреляли.

И в заключение.

— А что же нас... вообще... будут расстреливать?

Гробовое молчание.

Беспросветная тьма.

Долги и тяжелы тюремные ночи...

19 августа.

Появился не надолго главный, как говорят, член следственной комиссии.

На вопрос, за что арестован и долго ли будут держать в тюрьме, лаконический ответ:

—Вас расстреляют.

Режим ухудшается, благодаря тому, что при обыске, учиненном при „самом“ нач-ке тюрьмы, нашли недозволенные вещи, как карты, и еще что-то.

Надзиратели за „слабый надзор“ угадали на 5 дней под арест.

Начальник тюрьмы—надутая, нафабренная и высокомерная фигура.

Контрабандой попадают листки газет, издаваемых „победителями“—кадетами.

Тошнотворное впечатление. Противно читать немощные, примирительные речи „бабушки“ Брешко-Брешковской.

21 августа.

Идут дни и недели. Скоро месяц со дня ареста. И все еще „расстреляют“.

По-прежнему масса слухов и вестей, правдивость которых трудно проверить.

Говорят об уведенных из корпуса трех комиссарах, приговоренных к расстрелу. И тотчас же опровержение. Кризис с книжками из „библиотеки“,—прочитано все, что было возможно, а передача книг с воли вчера прекращена. Почему?

Чтоб тошнее жить было.

22 августа.

Газетная новость—под охраной чехо-словацких штыков учреждается Уральское областное правительство. Мелькают знакомые имена именитых буржуа. Новый жилец в палате—знакомый мне еще по Шарташу, председатель местного сельского совета С. Яковлев.

Поколотили, кажется, немного. Но сильно обескуражен: несколько дней скрывался, мог убежать, но уговорили выйти на волю: „не тронут“ и вот.......

Увы, история повторяется, так было и со мной.

23 августа.

Все та же неизвестность. Говорят о каком-то списке назначенных к освобождению, но пока это—миф. Но какое-то „движение“ происходит: некоторых выпускают, одних водят на допросы, других куда-то переводят.

А продавшиеся чехо-словакам и белому правительству газеты приносят блестящие известия.

В одном листке читаю приказ: при мобилизации расстреливать „на месте“ отказывающихся.

В этом же номере, с позволения сказать, газеты, откровеннейшее „воззвание“ следственной комиссии к обывателю—доносить об укрывающихся большевиках и сочувствующих; при этом даются примеры.

Голодание и режим дают себя знать.

За это время на моих глазах уже третья смерть. Один из заводских служащих—кассир, у которого белые при обыске отобрали все деньги без всяких расписок, сошел с ума.

24 августа.

Новый квартирант, человек с простреленной ногой, на костылях, взят из лечебницы врачей специалистов, где надеялся, что его не тронут.

Это некто Б-л, латыш, доверенный одного из заводов. Убегая от белых и спасая заводскую казну (45.000 р.) он часть пути плыл на пароходе. Белые подстрелили, обстреляли пароход с берега и ранили его в ногу. Добрался благополучно до Екатеринбурга, приютился было в больнице, под чужим паспортом, но разведали, явились в больницу и, не взирая на костыли, протесты врача лечебницы и незалеченную рану, стащили с койки и бросили в тюрьму... Деньги, конечно, отобрали.

26 августа.

Палата полна рассказами об усиленной деятельности следственной комиссии.

Допрашивают в тюрьме (в канцелярии), на 6 столах, по 60 с лишним человек в день. За месяц, говорят, допрошено уже 200 человек.

Пусть эта энергия достаточно удивительна, но все же большинство до сих пор не знает, за кем они числятся, за что взяты и скоро ли выпустят.

Тюрьмы переполнены. Расчитанная на 500—600 человек, одна из них впитала в себя уже 1200, и продолжают набивать людьми, как сельдей в боченок, и корпус, и больницу. И, конечно, смертность все прогрессирует.

Сегодня пятая смерть в больнице. И все равнодушны. Вынесут труп на носилках в корридор и долго лежит он там, пока не потащат в катаверную.

Впрочем „власть имеющие“ не менее равнодушны и к живым: уже неделя, как больница без воды.

Подали заявление в следственную комиссию.

Никаких результатов.

29 августа.

Получил из корпуса от Штейнгеля письмо, в котором, между прочим, сообщает о том, что 300 арестованных и назначенных к отправке в тюрьмы расстреляны. И след их потерян.

Что это, факт или анекдот? Если последнее, то жуткие же анекдоты преподносят белые нам.

Тюремная тоска густеет от вынужденного бездействия, отсутствия книг и неизвестности.

Как нарочно, стоят дивные дни. На прогулке видишь голубое небо, золотое солнце, доносится городской шум.

3 сентября.

Новый квартирант—жертва доноса—бывший солдат, георгиевский кавалер. Доносчики обвиняют его в убийстве казака, хотя совершенно не имеют улик.

Три раза по доносу арестовывали, три раза освобождали, в последний раз выпустили на поруки и все же вновь арестовали.

Да здравствует белая юстиция!

8 сентября.

Скоро полтора месяца ареста, но нас все еще „раз'ясняют". По справедливому выражению т. Штейнгеля, вся эта комедия с следствием—иллюстрация к поговорке „Кошке игрушки...."

Тем не менее, во всех углах пишут в „Комиссию" заявления, показания, прошения.

Вести с воли неутешительные: одна часть „героев" заняла Пермь, другая овладела Н.-Тагилом. А население тюрьмы все более увеличивается, и в корпусе, по словам очевидцев, кошмарная теснота. Хлеба дают только 1/2 фунта. Знаменитый „суп" разбавляют сырой водой. О бане ни звука и благодаря этому даже в больнице, где сравнительно с корпусом чище, развилась чесотка. Кишмя кишат паразиты... Даже ночью не дает спокойствия. И нечем бороться. Воистину—отданы живыми на с'едение.

Недавно назначен в больницу военный врач, некто Тагильцев. Молодой еще и потому совестливый, обходительный, мягкий, но.... бессильный чем-либо существенно помочь.

28 сентября.

В нашу палату помещен главный инженер Ревдинских заводов Балдин—старый знакомый по Петербург-

скому технологическому институту. Вспоминаем давнишнее прошлое. Тогда, 20 лет тому назад, он был радикалом и, даже кончив курс, стоял во главе студенческой забастовки. Теперь это самый обыкновенный обыватель, и за что его взяли только, Аллаху известно.

От него узнали мы, обитатели больницы, пикантную новость: следственная комиссия пополнилась... бывшими царскими жандармами.

Кого только ни забирают белые—уму помрачительно.

Вот примеры: арестована и сидит в тюрьме 60-летняя старуха, собиравшая в подгородном лесу грибы. За что: за подслушанную добровольцем-шпионом (их развелось тоже, как грибов) фразу: „В старые времена, до освобождения крестьян, лучше было“.

Или вот еще—глухо-немой и слепой музыкант-настройщик Майер. Сначала обвинение—„был секретарем революционного трибунала“. Этот же глухо-немой и слепой „произносил (немой)! зажигательные речи“!

Просидел 1 месяц и 5 дней.

Еще преступник: старик нищий с припадком падучей.

Интересным „перлом“, касающимся меня, подарил сегодня „Заур. Край“, с прихода белых распоясавшийся во всю.

На страницах этого печатного органа, возглавляемого д-ром Спасским, помимо обычной ругани большевиков, время от времени помещались портреты—пасквили на особенно досадивших кадетам советских работников.

„Портреты“ эти—образцы заборной литературы, где ложь, передержка, клевета, ругань, чередуются меж собой.

Попадались мне „портреты“ т. т. Быкова, Голощекина, Тихонова. А сегодня в № 50 „З. Кр.“ дождался и своего.

И чего только нет в этом портрете: обвинения в реквизиции типографии „Заур. Края“, сплошная ложь о редактировании эсеровской военной газеты „Новый Путь“ (не справились как следует, - фактически редактировал я „Вольный Урал“—орган уездн. Совета Крестьянских Депутатов, и в „Н. П.“ не дал ни единой строчки), тут и форменный донос (пригодится для следственной комиссии) о преступном выступлении моем на родительском собрании во 2-й женской гимназии (по нашумевшему инциденту с удалением педагога Младова); второй донос, что Г-ов не только не отдалился от большевиков, как большинство эсеров,—наоборот—сделался их активным работником.*) И в заключение, грубое издевательство: высмеивание моих злоключений в Тобольской ссылке и т. п.

И это печатается о человеке, лишенном возможности ответить хоть одним словом.

Воистину „нож в спину“.

С чувством глубокого отвращения выпустил я из рук № „Заур. Края“.

2 октября.

Вот уже золотая осень глядит через решетки тюремных окон. Видимо, придется зазимовать.

А из города все политические новости великой важности: Екатеринбург назначается резиденцией Уральского Правительства и местом созыва Учредительного Собрания.

Наряду с этим другие известия об „усмирении людей, приверженных Советской власти“: в гостином дворе, (где наскоро устроенная тюрьма), морят голодом и нещадно бьют—один из истязуемых сошел с ума.

---

*) Позже, во время допроса, я увидел № 50 „З. Кр.“ пришитым к моему делу.

Шпионаж и сыск расцвели махровым цветом: к нам приставили одного старика надзирателя, специально занявшегося сыском.

В корзинах для передачи Яковлеву и Кронину он отыскал записки с воли и в результате--лишение передачи— очень чуствительная при тюремном голодании кара.

А голод чувствовался все острее и по этому поводу произошел краткий диалог одного из узников с врачем.

— Вы, доктор, должны вступиться. Ведь это же медленное убийство.

— Я понимаю—лепечет смущенный д-р, я готов бы давать и пшенную кашу, и молоко, но.... бессилен.

— Как так?

— Средств нет, кредит закрыт.

Любопытная параллель: городская дума отпускает 150.000 руб. на обед и ужин Всероссийской Директории.

5 октября.

В нашей и других палатах общее отчаяние от прогрессирующей чесотки. Ничего подобного я не видел и в царских казематах. Многие расчесывают себя в кровь. Ночи—без сна; стоны и проклятия.

Новый жилец палаты, по имени Герман—интересный суб'ект: скитался за границей, живал в Италии и в Швейцарии, говорит немного по-итальянски.

О вероисповедании: ,,числюсь лютеранином, но свободомыслящий".

Моментально устроил с помощью нехитрых приспособлений фабрику игральных карт.

Развивается (когда добрый надзиратель) игра в преферанс.

9 октября.

Необычайный визит: делегация представителей „Красного Креста", профессиональных союзов и даже политических партий.

Впускают их благосклонно уже после поверки, что по правилам не полагается. Но благосклонность „начальства" становится понятной после монотонной заученной речи предводителя делегации:

— ....мы можем оказать помощь материальную и юридическим советом всем заключенным, кроме большевиков и левых эсеров, участвовавших в расстрелах. Тошно слышать г. г. делегатов. Но публика оживилась, рождаются надежды, вспыхивают разговоры.

— Может быть, помогут... Вот в Челябинске по „манифесту" правит-ва освободили 39.

18 октября.

Нового мало—Красный Крест и К-о, родивший столько надежд у маловерных, пропал без вести.

Говорят—его совершенно прекратили—нашли вредным.

Попрежнему волнуют вести и слухи.

Между ними слух, что все дело следствия берут в свои руки чехо-словаки.

Вряд ли от этого станет легче.

Еще замечательные основания для бросания в тюрьму:

1) Скрипач Виткин арестован за то, что жил против дома Полякова и кланялся М. Х. Полякову—большевику.

2) Сын раввина—Лев за то, что ухаживал за дочерью Юровского, принимавшего участие в расстреле Николая II.

3) Артельщик Мурманских жел.-дор.—имел при себе много денег—230.000 р. общественных сумм Пред'явил ряд доверенностей и удостоверений; не помогло, деньги отняли и самого—в тюрьму.

Ужасы рассказывают про содержание арестованных в бывш. Коммерческом собр.. три дня ни капли воды, на воздух не выпускают, клозеты не действуют.

21 октября.

Близится трех месячный тюремный юбилей, а от „расправы“—ни звука. Кой-кого освободили. На моих глазах состав палаты № 1 обновляется.

А пресловутый „Кр. Крест“ после широковещательной декларации прислал... ковригу хлеба...

Вести с воли говорят о том, что реакционные ветры в городе свирепствуют.

Воздвигнуто гонение на лучшего из докторов Екатеринбурга, старшего врача городской больницы Л. В. Лепешинского, гуманнейшего человека и неутомимого работника.

В чем вина его?

В преступление вменяют обнаглевшие буржуа его выступление против их друзей-приятелей—педагогов на родительском собрании... А затем еще обвинение его, д-ра Лепешинского: видели у памятника бывшего царя Александра II-го при большевистской демонстрации.

Этого достаточно, чтобы изгнать из городской больницы добросовестного врача и лишить ее искуснейшего хирурга.

Даже часть обывателей возмущена, и группа их, с участием военных, подала заявление в городскую управу.

Передают, что нуждающиеся в операции бегут к д-ру Лепешинскому на дом и он вынужден делать операции

на дому, без всяких приспособлений, с кое-какими инструментами.

Еще подвиги правых—удушен и разогнан союз городских служащих; разгромлен союз печатников.

В тюрьме „без перемен“. Упорно не пропускают с воли книг: задержали в конторе переданный мне сборник стихов „Русская Муза“ под ред. Мельшина. Подбор стихов революционный. Не боятся ли тюремщики распропагандировать меня?

23 октября.

Обрадовавшая всю тюрьму сенсация: в минувшую ночь, выдавшуюся темной и дождливой, из корпуса бежало два уголовных.

Оживленные разговоры о событии, с похвалой „молодцам“.

Наряду с этим другое сенсационное известие: решено будто бы отправить партию политических в Томск или Омск. Может быть там будет лучше. Здесь принята отвратительная система—мешать политических с уголовными и случайными людьми, схваченными с улицы.

В итоге—ни минуты покоя, с утра до ночи тонешь в сквернословии, а с наступлением ночи азартная игра (тоже с азартной руганью), долго не дающая уснуть.

Протесты ни к чему.

Недавно—памятна картинка—во время ожесточенной стуколки, под ругань игроков, умер крестьянин-аграрник, все время метавшийся в предсмертных судорогах.

И смерть его не остановила игры. Постучали только в коридор надзирателю с просьбой убрать труп в мертвецкую, но получили отказ („не могу, после проверки“).

И картежная игра с отвратительной руганью не прекратилась.

24 октября.

Дали невозможный хлеб—какая-то замазка. Поднялся голодный бунт. Палата решила было вся возвратить обратно эту нес'едобную дрянь. Но в решительную минуту офицер К-н разбил решение заявлением: „Протест лишь ухудшит положение“.

Большинство, однако, хлеб возвратило.

Прогулки прекращены на неделю—топят, видите-ли, баню (впервые через три месяца).

Интересный приказ № 36 прочел в местной газете: призывают граждан жертвовать белье народной армии, а у тех, кто не пожертвует, будут отбирать силой.

Любопытное письмо прислал из корпуса т. Штеллинг. Вот существенная часть его.

„.... .и у нас ходят упорные слухи, со ссылками на верный источник, что бывшие красноармейцы будут на-днях „выпущены“ из тюрьмы и отправятся на каторжные работы в Зап. Сибирь; в качестве пунктов для отбывания каторжных работ указываются угольные копи (близ ст. „Тайга“) и копи Экибастусские (в 300 верстах выше Омска, по Иртышу).

Каторжные работы в административном порядке—это далеко ушло по сравнению с царизмом.

Впрочем, происходят явления и похуже: на-днях в числе прочих были уведены в город двое из нашей камеры (Бабкин и Абрамов). Вчера же получено известие от их жен, что они оба „скончались“.

Нужно прибавить, что вины никакой за ними не числилось; уже во время принятия их казачьим конвоем

для сопровождения в В.-Исетск (они, как и вся партия в 63 челов., были в.-исетские), были они казаками жестоко избиты нагайками. Упорно говорят, что из этой партии расстреляно 42 человека. Вот вам „целесообразность", о которой проповедует газ. „Дневник". Как видно, эти проповеди приходятся не ко двору, если принять во внимание, что после подчинения коменданту—чеху, арестованные теперь из'яты из его ведения и зачислены за помощником начальника гарнизона по гражданской части —кадетом Н. Чистосердовым.

Впрочем, имеется сообщение, что чехи намерены взять власть в свои руки. Со стороны чехов наблюдается сильное недовольство русским офицерством, которое не идет на фронт, предоставляя эту честь чехам, а само под разными предлогами устраивается в тылу на тепленьких местечках. Недовольны (чехи) и буржуазией, которая только приветствует и „лебезит"...

Вчера говорили, что допросить осталось не более 100 человек, значит и до нас, наконец, дойдет очередь. Возлагать, однако, какие-либо надежды на это, по-моему, не следует, так как допросы эти производятся лишь для очистки нежной кадетской и право-эсеровской совести, которая любит, чтобы все имело вид строгого исполнения всяческой юридической формальности.

После побега двух уголовных, увеличились (в корпусе) всякие мелкие строгости и придирки, которыми усложняется и разнообразится жизнь арестованных. До свиданья".

Прибавляю к этому некоторые данные из записки Штеллинга, присланной раньше. В ней он сообщает, что арестованных в городе, считая с красноармейцами, более

11000 человек. В коммерческом клубе находится более 600 человек. и загажен он до невероятности.

26 октября.

Горизонт проясняется. Узнаем, по крайней мере, что максимум „кары“ за участие в советской работе и другие „преступления“—три месяца тюрьмы, но без зачета предварительного заключения... хотя бы полгода прошло до приговора.

Наконец, дождался и я допроса.

Допрашивал пожилых лет товарищ прокурора Кр-в.

Интересно его определение настоящего суда:

— Мы больше по впечатлению судим; если арестованный не выглядит разбойником, отпускаем.

Пытался определить платформу большевиков и проявил полную неосведомленность о яко-бы „полном контакте большевиков с левыми эсерами“.

На дворе осень. Тягостны эти длинные, тюремные ночи.

Беспросветная тьма, шаги часовых... А поодаль доносятся то одиночные выстрелы, то залпы.

Кого это?

27 октября.

Не угасла еще жизнь в людях, забитых даже в колчаковский каменный мешок.

Об этом, по крайней мере, говорит дошедший сегодня (с большим запозданием) первый № тюремного журнала.

Воспроизведу наиболее интересное, начиная с заглавного листа.

13 сентября 1918 г. № 1.

Екатеринбургская Тюрьма.

Не периодический, об'емлющий все течения политической, экономической, общественной и тюремной жизни

ЖУРНАЛ.

Выходит по мере накопления материала.
Бесплатно.

От редакции.*)

„Гони природу в дверь—она через окно".

„Это уж давно стало общепонятной истиной. От себя прибавлю: захлопни наглухо окно, а природа—через дымовую трубу.

По замощенной булыжником улице все же пробивается зеленая травка и на болоте вырастают цветы.

Правда, трава, что растет на мостовой, не чета гордо-высокой сочной траве широких вольных степей, и болотные цветы не отличаются ни яркостью, ни разнообразием красок, ни благоуханием.

Эти чахлые, бледные растения не приносят ни пользы, ни радости. Но это—протест природы против оков над ее живой, благодатной силой...

Наш тюремный журнал—это тоже растение, пробивающееся из-под каменных плит, это—цветок на болоте

*) Щадя место, я вынужден был, готовя „дневник" для печати, несколько сократить редакционную статью.

Ему не сравняться с сияющей всеми цветами радуги вольной литературой. Ему неоткуда черпать живительные соки вольной жизни.

Но на воле светит... солнце... И ,,несжатые полосы" нетерпеливо ждут и радостно манят своего пахаря и жнеца.

В стране перестраивается на новый лад политическая жизнь, и общественные группы еще не перестали бороться за свои идеалы... Все кругом так настойчиво требует напряженной и энергичной деятельности людей.

А мы?

Мы „арестанты"—граждане, мещане, рабочие, крестьяне, внезапно и насильно оторваны от своей родной почвы и общественной сферы и брошены за железную решетку, в каменный мешок.

Но от темного и душевного томления в душном, грязном и тесном каземате мы еще не потеряли своих природных человеческих стремлений и еще сохранили стихийный порыв к деятельности, добру и красоте».

Какова же цель тюремного журнала, спрашивает автор ред. статьи, и отвечает:

,,В нем, как в зеркале, может отразиться вся серая и безрадостная жизнь тюрьмы. На его страницах ,,арестанты" могут излить всю скорбь наболевших душ и... может быть кто-нибудь прочтет из этих строк зароненную кем-либо ,,божью искру" святой любви и ненависти".

Далее редакция журнала об'являет его внепартийным, приглашает писать каждого и выражать уверенность, что

„вся тюрьма пожелает принять самое живейшее участие в журнале“.

Вторым номером является статья „К судьбе арестованных“ (написано карандашем), трактующая о полном произволе арестов (доносы, личные счеты) и судьбе заключенных, и страдающая большим недостатком—наивной верой в то, что общество, отрицательно в большинстве относящееся к огульным арестам, заставит власть (моральным давлением) освободить невинных ни в чем людей, брошенных в тюрьмы.

Здесь сказалось отсутствие политического чутья и правильной оценки сил со стороны внепартийной редакции.

На какое „общество“ расчитывала она, когда властвовала буржуазия в союзе с золотопогонниками, а все живое (профсоюзы, напр.) было загнано в угол?...

Из статьи вывожу интересную цифру—к моменту выпуска журнала в тюрьме насчитывалось 2000 арестованных.

Это—при вместимости ее в 500-600 человек.

Мудрено ли после этого было дождаться вспышки сыпного тифа.

В импровизированном журнале отведено место и „политической юмористике“. Вот небольшие удачные „телеграммы от собственных корреспондентов“, улавливающие злободневное:

«*Самара.* Комитет членов Учред. Собрания издал воззвание к мертвым душам Гоголя, призывая их на борьбу за торжество демократизма. Воззвание имеет большой успех. Растет мощная армия, непобедимая, не только большевиками, но и немцами».

«*Екатеринбург.* Временное Правительство Уральской области об‘явило войну Временному Сибирскому Прави-

тельству. Поводом к этому послужила аннексия Кыштымского уезда. Военные действия начались. Будет об'явлена мобилизация блох и прочих паразитствующих элементов в области».

«*Ледовитый океан.* Пароход, везший А. Ф. Керенского, об'явил себя демократической республикой. Президентом избран Керенский, который об'явил войну Советской России».

Даже стихи, правда, весьма слабые, имелись в новорожденном журнале:

„Социалист и сбыватель".

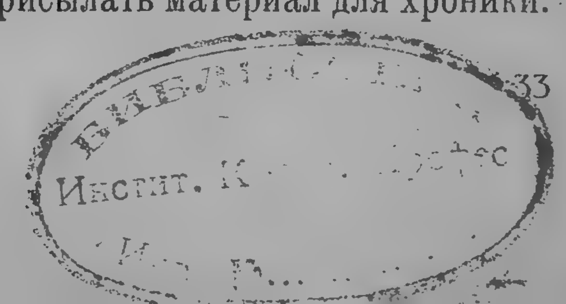
Вот первые строфы;

Социалист. Мы по тюрьмам годами скитались
Или в ссылке лишенья несли.
Обыватель. Спекуляцией мы наживались,
Из окопов сынков мы спасли.
Социалист. Мы от рабского сна пробудили
Угнетенный, забитый народ.
Обыватель. Мы в ладу с темнотою их жили,
Обирая весь глупый их род.
Социалист. Мы в правах всех людей уравняли,
Уважать научили мы труд.
Обыватель. Всей душою мы труд презирали,
Все за деньги могли получить; и т. д.

Стихотворение кончается надеждой социалиста, что „у нас будет праздник".

Журнал издан в одном экземпляре—просят передавать из камеры в камеру.

Просят сотрудничать, присылать материал для хроники.



Но где же „творить“ в этом хаосе?

Да и не долог, вероятно, век тюремного журнала.*)

28 октября.

К нам стали заходить воскресшие из мертвых „чины прокурорского надзора“ с вопросами „нет ли претензий, заявлений?“

Пытался поговорить о „деле“, но что можно вытянуть из этих великолепных экземпляров щегловитовской **) школы.

Спрашиваю, например, тов. прокурора, посетившего больницу сегодня—почему держат месяцами, не пред‘являя обвинения. Отчеканивает:

— Не вхожу в существо.. это—дело следственной комиссии.

Раздраженный, бросаю в лицо корректному прокурору замечание, что бесчеловечно обрекать больных людей на медленное умирание в битком набитой тюрьме.

Ответ: „Таких слов говорить не надо“.

Новости с воли сосредотачиваются вокруг „верховного правителя“ Колчака.

Наши буржуи, обезумев от радости, прямо носят его на руках.

Говорят (и пишут) о перенесении резиденции „правителя“ в Екатеринбург, и первые приготовления—это полная изоляция целого квартала, где „он“ будет жить, колючей проволокой, заставами, караулами.

Смертность все растет—почти не проходит дня, чтобы из больницы не уносили покойника.

---

*) Первый номер, действительно, был и последним.

**) Щегловитов—последний министр юстиции при царизме, от‘явленнейший мракобес и черносотенец.—*Примеч. Редакции.*

Часто ночью слышу вопли и стоны борющихся с предсмертной агонией.

Жутко, но... ко всему привыкает человек.

Интересным афоризмом разрешается у койки мёртвеца один из уголовных.

— Не понимаю, почему боятся мертвецов. Живые всегда страшнее мертвых...

3 ноября.

Удостоились визита второго представителя юстиции— тов. прокурора Остродумова.

Отрывки моей беседы с ним. Мое имя „много говорит ему“:

— Ведь вы идейный... (не находит слова) работник.

— И вот как благодарят идейных работников.

— Но есть идеи, от которых люди и страдают. И Ленин—идейный человек, но вредный...

Разговор кончился уверением, что в моем деле „нет острых углов“. „скоро сообщат решение“.

9 ноября.

Невыносимое состояние—быть отданным на с‘едение паразитам,—ни сна, ни отдыха.

И это в больнице. Что же делается в корпусе?

Светлый луч—помещение в нашу палату тов. Фокина.

Первый здесь человек с определенным миросозерцанием.

Его вера: „Россия будет большевистской“.

История его ареста кошмарна.

Он был уполномоченным по заготовке продовольствия для Красной Гвардии, жил в округе В.-Уфалейского завода, в деревне М. Нагрянули белые. Деревня была оцеплена сотней казаков. Фокина схватили, раздели и гнали 30 верст,

до станции, босым и раздетым, на аркане, хлеща справа и слева нагайками.

Как только остался жив человек?

Еще один штрих тюремной расправы: одного из заключенных в корпусе посадили на 7 дней в карцер за то, что употреблял выражение „Николай Кровавый". Можно ли дальше итти?

10 ноября.

На свидании (первом для меня) с Н. узнал, наконец, что похоронен еще на три месяца в тюрьме. Без зачета, конечно, предшествующих $3^1/_2$ месяцев.

Характерен „ультиматум", об'явленный Н. в следственной комиссии на просьбу выпустить меня на поруки, как тяжко-больного:

— Если бы 20 докторов доказали нам, что его надо выпустить, все равно, не освободили бы.

Еще сообщение из серии: „За что арестуют": один парень посажен в тюрьму за то, что плакал по отце, утопленном в Исети...

30 декабря.

Большой перерыв в записях об'ясняется прежде всего тем, что истощилась бумага, да и, признаться, наскучило, устал вести тюремную летопись.

Почти канун нового года (по новому стилю).

Оглядываюсь назад, каковы последние этапы.

Укрепился и развернул во всю ширь свою власть Колчак. Соответственно этому явлению, растут чувства благодарной буржуазии и „на все готовой" пресмыкающейся печати.

Из газет узнаем, что „биржа“ чествовала адмирала торжественным собранием и председатель биржевого комитета П. Иванов преподнес Колчаку 1½ миллиона золотом „в изящном ларце из самоцветов и уральских камней“.

По всей территории неудержимое стремление на попятный двор, к вершинам монархизма: учреждено колчаковцами „особое отделение по охранению общественного порядка“, т. е. та же охранка, уволено „за вольномыслие“ несколько классов Тобольской гимназии, жестоко усмиряются (в Томске розгами) рабочие забастовки, происходит удушение профессиональных союзов и реставрируются генерал-губернаторы („управляющие губерниями“).

Образцом может служить ретивый человеконенавистник Н. Чистосердов, воеводствующий в Перми.

В тюрьме невыносимое настроение, об‘ясняющееся обострением отношений между двумя лагерями: лже-политических (уголовных, взятых „за политику“) и действительно политических.

Отравляет еще существование усердно насаждаемый шпионаж.

Постепенно раз‘яснилось, что подсаженный в палату „интернационалист“ Вильгельм-Герман, владеющий итальянским языком и большой развязностью, имеет определенную миссию — доносить по начальству, что у нас в палате делается и кто что говорит.

Почву для подозрений создали неискусные приемы самих тюремщиков: не раз Вильгельма вызывали для неизвестных целей в контору после поверки, тогда как обыкновенно до утра двери камер не открывались ни для кого.

На вопросы — зачем вызывали в неурочное время, Вильгельм давал сбивчивые ответы, судорожно хохотал, и это еще более усиливало подозрения.

Прибавилась еще недобросовестная игра Вильгельма в карты („обставить новичка“) и хамство, соединенное с трусливостью. И судьба Вильгельма решена—его, видимо, будут бойкотировать.

Не раз после вызовов его в контору делались обыски.

1919 год.

6 января 1919 г.

Надвинулась давно ожидаемая гроза—*сыпной тиф*.

Заболевают десятками в корпусе, не мало жертв и в больнице.

Принимаются домашние меры—удивительно нелепые—по части дезинфекции палат: из палаты, подлежащей дезинфекции, больные со всем их скарбом, лохмотьями и тряпками переселяются в какую либо другую палату (2 раза переселялись к нам); за неимением коек помещают больных на полу между кроватями, чуть ли не под кроватями.

Получается невероятная духота и теснота—вставши со своей койки, боишься наступить ногой на живого человека. Кажется, лучшего средства для усиления эпидемии не придумаешь.

Обрадовали новостью: массовое продление срока тюрьмы еще на три месяца.

И еще „новость“—книги с воли отсылаются к прокурору.

Раньше не требовалось.

Наряду с этими попечениями о нравственности заключенных, тюрьма превращена в какое то забытое учреждение: третий день уже не топят печей—нет дров.

В результате „медленное замерзание“ больных.

Пальто, шуба, шапки и калоши — обычный в палате костюм—так и спим.

Уже второй месяц не платят жалования надзирателям — это их озлобляет, а злобу они срывают на нас.

23 февраля.

Снова большой антракт в дневнике. Об'яснение— бумажный голод и понижение писательской энергии.

Сыпной тиф разгулялся, празднуют пир и другие болезни и приходится переживать тяжелые ночи в палате № 1.

Памятна недавняя, кошмарная ночь; трое бредят и порой вопят, один (Жилин) точно потерял рассудок, вскакивает, бежит из палаты и стучится в запертую дверь. Его схватывают, борются с ним. Ко всему этому несвязное, но громкое бормотание „казенного шпиона“ Вильгельма, кого-то проклинающего.

Ни минуты сна.

25 февраля.

Трагической становится история „лягавого“ Вильгельма.

Палата единогласно решается избавиться от него и просит доктора Тагильцева удалить Вильгельма.

Доктор дает соответствующее распоряжение и старший надзиратель пред'являет к Вильгельму требование: во время дезинфекции нашей палаты и временного переселения нашего в № 3, Вильгельму перейти в палату № 4.

Но Вильгельм, потерявший прежний апломб, боится других арестантов—слава о его предательстве разнеслась по всей больнице, — и он отказывается перейти в другую палату.

— Убьют.

И, несмотря на общее негодование и явное отвращение, плетется за нами в № 3, где ему приходится спать на полу, а затем возвращается в прежнюю палату № 1.

Отныне удел его—удел отверженного. Общее презрение и страшный бойкот. Ни единого слова с ним, точно человек умер.

Захватила доносчика болезнь, может быть к счастью для него, но ни у кого нет в мыслях чем-нибудь помочь „лягавому“.

Даже добродушный крестьянин Худяков, отзывавшийся на все, отказывается помочь являющемуся его соседом Вильгельму.

—„Ничего не хочу давать тебе“, отвечает он на его просьбы.

—„Вот товарищи говорят—провокатор ты, предатель, не обращайся ко мне“...

Вильгельм пускался в плаксивые об'яснения. В ответ—зловещее молчание и резкая отповедь.

26 февраля.

Вести о товарищах по несчастью. Штеллинга выслали в Туринск, Фокина эвакуировали в партии куда-то в уездную тюрьму, но дорогой он бежал.

Определенно говорят, что больше половины эвакуированных не доходят до места назначения—по дороге расстреливают.

Извел умирающий доносчик Вильгельм. Какое то органическое отвращение возбуждает его вид... Не хочется смотреть в его сторону. И он сам, будто чувствуя это общее презрение, гадливость к нему, вечно закутанный с головой в казенное одеяло лежит неподвижно. Иногда что-то пробормочет... Наконец, вчера ночью—вечное

молчание — смерть. Никто не заметил ее. Утром труп предателя вынесли. Все вздохнули свободней.

Ни в одной из тюрем царских не наблюдал такого откровенного „подсаживания“ шпиона. Исполать колчаковцам.

27 февраля.

Сегодня привели в больницу (сам ходить не может) жестоко изувеченного и израненного человека—заведующего комиссариатом юстиции Алапаевского района Е. А. Соловьева.

В ручных и ножных кандалах, бесчеловечно исполосованного при аресте нагайками по приказанию пьяного офицера.

Долгое время лежал мученик на койке, не двигаясь; на теле видны глубокие рубцы от сечения нагайками с вплетенными в них проволоками...

Страшно смотреть.

Вот его рассказ о себе, записанный мною дословно под его диктовку.

Рассказ Г. А. Соловьева.

„Геннадий Андреевич Соловьев—житель Нейво-Алапаевского завода, 44 лет, мастеровой.

Таскают по тюрьмам с 1903 года, после 1905 года был в ссылке.

По выходе из ссылки занимался крестьянством—был избран членом правления в обоих кооперативах, кредитном и потребительном.

Во время первого переворота (в 17 г.) был избран начальником милиции, заведывал 12-ю волостями; не прерывая своей работы, перешел в Совет, был членом

исполкома Алапаевского районного совета, заведывал Комиссариатом Юстиции до вторжения белогвардейцев.

Остался в лесу на конспиративной квартире для работ в тылу, но был обнаружен казаками, почему и бежал в Бийск, где арестован 12 октября.

Отправлен в Омскую тюрьму—просидел $1^1/_2$ месяца; увезли в Алапаевск, якобы для допроса по обвинению в убийстве великих князей Романовых. Допрашивал член окружного суда Сергеев; следственная комиссия после того избила нагайками—бил офицер Суворов и другой, фамилию забыл. В первый день Рождества привели сюда больного, избитого, посадили в карцер, держали трое суток, а потом—в больницу.

Первое постановление Совета Министров—содержание в тюрьме до Учредительного Собрания, а потом пред'явлено обвинение в убийстве князей. Последних куда-то девали, я же был в то время в Ирбите, не принимал никакого участия".

Закован по рукам и ногам.
Вид его ужасен.
Выживет-ли...?

1 марта.

Кажется, бумаги не хватит, чтобы увековечить все подвиги колчаковцев. Мой новый сосед по койке, Сергеев, мастер Уткинского завода, рассказал следующее: „Нагрянув в завод, белогвардейцы расхитили все мое имущество, меня арестовали, отвезли в Екатеринбург и заперли сначала в б. Коммерческом собрании.

Жена моя обратилась к коменданту с вопросом о причине моего ареста и с протестом против расхищения вещей.

В ответ на это г. комендант закатил моей жене две пощечины. Без всяких об'яснений... Что же это такое?

— Мне эти две пощечины, закончил свой рассказ негодующий Сергеев, больнее, чем потеря всего имущества. Но я с ними так не расстанусь. Увидимся, на воле припомню все.

...Что-то тревожное чувствуется в воздухе: то и дело формируют партии и отправляют.... большей частью в Николаевские арестантские роты, на принудительные работы.

В доходящих до нас (контрабандой) газетах постоянные сообщения о восстаниях и партизанских набегах и о „жестоком усмирении банд".

Иного слова кроме „банда", газетчики не находят для ведущих партизанскую войну.

Но хохот идет в палате, когда тут же читают, что „банда" численностью до 500 человек, что у нее имеются пулеметы и даже солидные орудия.....

По-прежнему—кажется с усиленным азартом в последнее время — приканчивают арестованных без суда и следствия.

Вот достойный истории диалог между начальником тюрьмы и вождем белогвардейцев, приведших партию арестованных в застенок.

— Вы привели не всех заключенных по препроводительной бумаге, а двумя меньше, где-же они?

— Отправлены в земельный комитет!

2 марта.

Убийственная „эпоха" тюремной жизни—распространение сыпного тифа.

Сами охранники создали его (переполнение тюрьмы, грязь, голодание, необычайно редкие бани), но мало

беспокоились, пока „сыпняк“ не перекинулся в город и стал угрожать буржуазии.

Тогда то ударили в набат и стали принимать „экстренные меры“, но одна нелепей другой; например, перегонка больных на время дезинфекции палаты в соседнюю, в которой создается теснота, доводится до того, что половина больных спит на полу, некоторые у „параши“ (ведра с нечистотами).

Врач Тагильцев заболел сам (месяца два не ходит), и в самый разгар эпидемии мы без врача.

В половине февраля стал появляться (с крайне короткими визитами) д-р Упоров, чтобы—его слова—„ловить сыпняк“.

А он косит жертвы направо и налево: за эти дни умерли двое особенно близких мне и ценных для общего дела заключенных—Худяков и Желмухин, оба крестьяне. Последний—поэт.

3 марта.

Для спасения от тифа буржуазии прибыл тюремный инспектор (Блохин) и принял сверх-экстренные меры дезинфекции. От одной из них мы чуть не отправились на тот свет.

Смертельная дезинфекция.

Иначе не могу назвать то, что было проделано с нами минувшей ночью. Были на волоске от смерти.

История такова: приказано нашей палате на время дезинфекции переселиться на ночь в соседнюю пустую амбулаторию—комнату без коек и без всякой мебели.

Перспектива спать без тюфяков, подушек, на грязном полу казалась отвратительной, поэтому многие, в том

числе и я, решили не спать и примостились кое-как на поверженном на пол громадном шкафу.

Но бороться со сном должно быть не хватило сил и пришлось уступить „реальной действительности“—разместились часов около трех ночи на полу и начали засыпать.

В палату нашу, где оставлено было все для дезинфекции, поставили знакомый нам аппарат: жаровня с горящими углями и с насыпанной сверху серой: пары ее и должны продезинфецировать палату со всем ее содержимым.

Предварительно все оконные рамы и дверь палаты заклеили бумагой, чтобы убийственные газы не проникли в жилые помещения. Итак, мы залегли спать на шкафу и грязном полу. Но что это значит? Сквозь дремоту слышу тревожные, отрывистые крики, многие вскочили. И в то же время чувствую, что дышать нечем—что-то едкое жжет нос и горло...

К нам валит серный газ, мы отравлены им и задыхаемся.

Кошмарная картина: кто мечется в угаре из угла в угол, другие бросаются лицом на пол, надеясь, что газа внизу нет. Напрасно — дышать нечем. Один из больных неистово дубасит по стенам в дверь корридора с криком:

— Дежурный! Отворите! Мы отравлены, задыхаемся!

Но тщетно, дверь наглухо заперта и дежурный, как потом оказалось, сам валялся в корридоре без чувств. Газы все гуще. Еще минута—другая и мы погибнем. Одно спасение—открыть, в крайнем случае—разбить окно, но оно страшно высоко.

Кое-как, по спинам товарищей карабкается один из нас к решетке окна и палкой открывает маленькую форточку.

Врывается свежий воздух—спасены! Но надо скорей уйти отсюда... Через окно зовем, рискуя расстрелом, старшего.

Он является, но сам наглотавшись в корридоре серы, начинает буквально кружиться волчком у окна, и остаток ужасной ночи проводим в хандре, без сна.

Как выяснилось утром, вся эта дикая история произошла от распоряжения старшего надзирателя—после двух часов ночи „немножко приоткрыть дверь палаты № 1". Чтобы „выходили газы"...

Очевидно младший понял это „немножко" по своему.

Испытание водой.

4 марта.

На другой день—новое испытание—баня. Конечно, прекрасная вещь баня, но с кошмарными „особенностями" была она преподнесена нам...

Высшей тюремной инстанцией решено: вести всех больных в баню (через двор, саженей 30) без верхнего платья, без калош и шапок, а возвращаться из бани в одном белье (вся одежда отдается в дезинфектор), прикрываясь лишь казенными одеялами. И это когда еще на дворе лежит снег и день морозный, ветренный. Прихожу в ужас. Беседую с чинами тюремной инспекции и прошу, как и другие, сделать исключение для тяжко больных, которым угрожает простуда и, может быть, смерть.

Неумолим и непреклонен:

— Для интересов большинства нельзя принимать во внимание отдельных лиц.

— Тогда могу отказаться от бани?

— Нет, не можете, все должны итти.

И вот эта каторжная баня. Набивается как боченок сельдями. $2^1/_2$ часа ждешь горячей воды, одеваешься на холодном асфальтовом полу. А обратное шествие.... нет, бег раздетых, разгоряченных людей по снегу, на морозе, Жалкие одеяла развеваются и нисколько не спасают от холодного ветра.

Добрались кое-как до палаты, но и здесь сюрприз. Койки без тюфяков и подушек—ложитесь на койки, Будь ты проклята, заботливость начальства!....

5 марта.

Налицо ближайшие результаты „испытания водой“: простуда почти у всех, хронический насморк, кашель, у иных болит грудь... А тиф косит и косит. Едва успевают готовить гробы и отправлять в барак-изолятор (во 2-й женской гимназии).

Волнует всю тюрьму весть о лишении передач на неопределенное время.

Тоже из области экстренных мер.

А политика попрежнему врывается сквозь туго завинченные двери.

Знакомимся с речами Колчака и ответными приветствиями. Банкеты и парады следуют один за другим.

А наряду с этим тревожные симптомы: сокрушительный приказ о дезертирах, „беспощадный расстрел“, „конфискация имущества укрывателей“.

Пополняют спешно белую армию: об'явлена мобилизация до 45-летнего возраста, сбор 18.000 лошадей, 6 тысяч повозок и т. д. И все под страшными угрозами за невыполнение.

10 марта.

Заношу в дневник еще один „подвиг" белых (по рассказу молодого анархиста Ильинских):

Как расправились в селе Большая Мостовская с крестьянином-стариком, кандидатом в Совет.

Когда белые вошли в деревню, шла баллотировка в Совет, сын старика работал в поле. Узнав о приближении белых и чуя гибель сына, старик побежал предупредить парня и тот бежал.

Белые, проведав это, решили старика расстрелять, но раньше приказали ему рыть для себя могилу.

Начал, но не успел вырыть всю, — „герои" выпустили в грудь старику залп из винтовок.

11 марта.

Исторический приказ: в газетах об'являют об отказе в выдаче мобилизованным удостоверений о том, что они не по своей воле идут в ряды „народной армии".

Видно донимают просьбами об этих удостоверениях.

Второй приказ—это уже „начало конца": в Тюмени восстание мобилизованных.

Приказ гласит о „безобразиях" 150 новобранцев и повелевает усмирить их „самыми жестокими мерами"— „расстрелять виновных на месте без всякого суда".

Одновременно с этим нам передают, что в Екатеринбурге до 5000 арестованных новобранцев, бежавших из рядов славной „народной армии".

Это не мешает заменившим „Зауральский Край" „Отечественным Ведомостям" ликовать по случаю взятия белыми Уфы.

Говорят, что это—миф.

18 марта.

И вот уже не миф, а на глазах наших совершается очередная гнусность.

В нашей палате давно уже находился некто Версиков, тихий незаметный сельский учитель. Перенес благополучно сыпной тиф.

Определенного обвинения к нему не пред'явлено, —„распространял вредные идеи“.

И вот 18 вечером, после проверки, часу в 10-м Версикова вызывают в контору вести в город на допрос. Сразу мрачная тень подозрения ложится всем на душу: ночью на допрос.....

И подозрение оправдывается: Версикова уводят из корпуса с 4 конвойными с шашками наголо, но обратно не приводят.....

Позже узнаем, что в контору прислали лишь казенное платье Версикова (какая аккуратность), самого же его расстреляли по дороге.

Якобы вздумал бежать от конвоя (4-х вооруженных), в него стали стрелять и убили.

Давно уже знакомая и всем понятная версия.

21 марта.

Проституирующие екатеринбургские газеты—„Отечественные Ведомости“, возглавляемые литератором Белорусовым, „Ур Жизнь“ с г. Чекиным, да и кооперативно-демократический „Урал“ то и дело живописуют зверства красных.

А вот картинка гуманности и благородства белых.

Простой, но страшный рассказ нового больного, рабочего Режевского завода, т. Мокроносова:

„Арестовали казаки и, как всегда, нещадно били и издевались, безудержно грабили.

„Отправили нас из Режевского завода в Екатеринбург в товарном вагоне, и набили туда 80 человек. Теснота и духота,—а к окну не подходи—расстрел. На всех поставили 2 ведра воды... „Оправляться“ во время пути не пускали—так около суток и ехали. Чем дальше, тем труднее становилось от духоты. Сам я чуть было не задохнулся—совсем нечем дышать стало.

Спасибо, протащили меня по полу к дыре, что тайно проделали.... Припал лицом к дыре я этой—хоть и грязь кругом—и отдышался.

Приехали на какой-то раз‘езд, отцепили наш вагон, поставили в тупик и об‘явили: „через 5 минут мы обольем вагон керосином и сожжем вас“.

Каково было дожидаться этого. А пока что вошли конвойные в вагон и стали избивать нас. Так били, что у одного рука оказалась вывернутой, и все же продолжали.......

31 марта.

Перелом зимы—идет весна. Но на душе ее нет. Хуже всего неизвестность. Вчера об‘явление „манифеста“—список задержанных до 1-го октября 18 года (после первого октября, прибавляют, будет суд). Но меня почему-то в списке нет.

В газетах г.г. „услужащих пером“ все подбадривают обывателей, но.... наряду с „славься“ приказ: не распространять вздорных слухов „об армии, в чем замечены и г.г. офицеры“.

Угрожают расстрелом.

2 апреля.

Для иллюстрации—кого забрали белые: сегодня освободили 69-летнего „революционера“, едва пердвигающего ноги. Левитского, брошенного в застенок неизвестно за что. Лежал день и ночь, и все умолял врача: „не дайте помереть здесь“. Умолил.

19 апреля.

Близится пасха..... Третья в тюрьме. (Саратов, Тюмень). Обывательского типа товарищи, готовятся к пасхе, устраиваются „буржуазные столики“ с куличами и крашеными яйцами.

Есть даже „группа“, хлопочущая о масле в лампадку и о свечах.......

Идут приготовления и снаружи: привезли партию винтовок, идет усиление стражи.

22 апреля.

Удивительную и умилительную картину представляет из себя палата № 1—уголок „крамольной“ тюрьмы в пасхальную ночь: православные, в том числе и молодой анархист, убрали икону гирляндами, зажгли лампадку, свечи, и во время заутрени усердно молятся.

Как это непохоже на пасхальную ночь в саратовской тюрьме (в арест. ротах), когда в соседней камере, набитой крестьянами-аграрниками, грянула в полночь „Крестьянская марсельеза“, а у нас ответили песней: „Отречемся от старого мира“.....

Здесь, впрочем, этого нечего было и ожидать: человеческий венигрет.

Когда молитвославия кончились, М-в произнес, обращаясь ко всем, импровизированную речь на тему о „терпении и энергии“.

В ответ на это раздалось иное слово: „будем бороться и верить в свой народ, в освобожденный пролетариат. И дождемся своего Воскресения и новой свободной России“.

23 апреля.

Пасха проходит немного живее поста—благодаря случайно залетевшим ко мне книгам—2 томика Гейне. Сегодня привели в тюрьму 5 арестованных... чехо-славаков.

Нравится-ли вам этот финал?—как шутил Чехов.

24 апреля.

Тиф, кажется, стихает, но в общем сделал свое дело: в тюрьме он скосил до 300 человек.

Все спешно снаряжают новые партии—в арест. роты и уездные тюрьмы... Многие ли дойдут.

И по ночам слышны где-то близко одиночные и залпом выстрелы.

— Все стараются... Расстреливают,—замечает кто-нибудь в полусне.

Сегодня нам было показано ни с чем несравнимое представление—как разыскивать нужного для расстрела человека.

В средине дня мы услышали шум чьих-то шагов по корридору, затем дверь распахнулась, причем отворивший ее надзиратель имел весьма услужливый вид, и мы увидели на пороге живописную группу: два юных франтоватых золотопогонника и, между ними, грубо накрашен-

ная и ярко одетая девица, в громадной шляпе, украшенной цветами, и с тросточкой в руках.

Некоторое время безмолвно осматривает палату.

— Ну, что-же,—обращается один из офицеров к накрашенной девице, не находите кого нужно?

Следует отрицательный ответ, хохот, восклицание золотопогонника: „поищем в другом месте“ —и дверь с треском захлопывается.

С помощью старожилов и того же надзирателя, скоро получаем раз‘яснение:

— Это известная многим любовница купца Топорищева... По личной ее злобе сюда посадили одного, что сгрубил ей что-то, и вот теперь разыскивает для расстрела чтобы.

— И разыщет, коли друзья помогают....

Что к этому прибавить?

26 апреля.

Хочется отравить еще единственную отраду—прогулки: приказано водить шеренгой, попарно... Не взирая на то, что есть больные, с трудом двигающиеся.

От каторжных прогулок отказались, на 3-й день их отменили.

Из газет узнаем, что ставка Колчака и миссии переезжают в Екатеринбург. На долго-ли....

Кстати о газетах: белое правительство, предающее анафеме большевиков за разгром „свободной“ (читай кадетской) печати, само весьма усердно душит свои газеты.

Даже в кадетских „Отеч. Ведомостях“ попадаются пробелы; а вот № 5 „Урала“ (демократическая, областная газета, издаваемая кооперативным издательством) зияет пустыми местами; вторая страница наполовину пу-

стая: вместо передовой—пустое место. Перепечатка из „Чешско-словацкого дневника“ обрывается в начале. „Обзор печати“, с полемикой против „Отеч. Ведомостей“ за их расшаркивание перед властями,—без конца—снова пусто место.

5 мая.

В окно смотрит „зеленый май“, а сидеть приходится минимум до 1 октября. Надо вооружаться терпением. Тяжелей всего—неизвестность—что делается в Советской России.

Совершенно николаевское об‘явление во вчерашнем № „Отеч. Ведомостей“: за обнаружение тайной организации коммунистов 8 человек расстреляно и лишь двое, в виде особой милости, приговорены к каторжным работам.

Вообще насчет расстрелов щедры, как ни на что другое.

Видимо, расстрел ожидает „красного фельдшера“, лежавшего в нашей палате,—Иванова.

И это до глубины души возмущает всех, даже ко всему равнодушных.

И в самом деле—Иванов (фельдшер сельской больницы, арестован за сочувствие большевикам и участие в Совете), как фельдшер принес тюрьме гораздо больше пользы, чем казенный фельдшер, пресловутый „Кузьмич“, поглощенный частной практикой и расхищением тюремных лекарств... Иванов по целым часам работал в аптеке, помогая составлять лекарства, посещая больных в корпусе, и прямо самоотверженную деятельность проявил при сыпном тифе. В то время как Кузьмич, струсив, даже не решался заходить в камеры, где оказывались захваченные сыпняком, Иванов, рискуя собой, проникал всюду, и

чуть-ли не на своих плечах выносил больных тифом на ожидавшую их к отправлению в барак подводу.

И великодушие его доходило до того, что он лечил как мог, и может быть спас от смерти, нескольких надзирателей.

Кажется, даже оказал помощь одному из помощников начальника тюрьмы.

И вот этого человека включили в партию подлежащих эвакуации... А мы знаем, что это значит. Ясно помню эту беспросветную ночь—недавно это было—в средине которой вдруг отворили дверь нашей палаты, гулко стуча сапогами вошли 2-3 надзирателя с фонарями, и стали выкликать по записке... приговоренных к смерти.

Один из вызванных догадался не ответить на вызов... И может быть он же сам или кто другой, после мгновения молчания, бросили:

— Нет такого.

А Иванов и его брат крестьянин, содержащийся с нами, отозвался и его увели в тьму ночи, добавив:

„Пожитки не нужно... Не собирай..."

И в полумраке слабо освещенной фонарем палаты мы простились с ним, предчувствуя самое скверное.

7 мая.

И предчувствия не обманули: на другой день партия эвакуированных ушла, а Иванова, вместе с другими четырьмя от партии оставили и поместили в отдельной камере в корпусе. Очевидно что-то замышлялось, мы видели из больницы противоположное нашему окно камеры в корпусе, и сквозь его решетку видели Иванова, улыбавшегося и кланявшегося нам и, видимо, ничего не подозревавшего. Через день мы уже не видели его. Вместе с другими „смертниками" его расстреляли.... Поблагодарили....

8 мая.

Газеты пестрели приказами.... о расстрелах.

В Тюмени повелено расстрелять 18 „по обвинению в тайной и активной большевистской организации".

Расстрелы за принадлежность к политической партии...

Дальше итти некуда. Даже „Отеч. Ведомости" встревожились и бормочут в передовой: „Не слишком-ли г.г. усердствуете?".

После 2-х часов дня сегодня обыск, заставший меня во сне. Знакомое, тяжелое, брезгливое чувство от грубого прикосновения корявых пальцев, залезающих в карманы, за пазуху... Отделался лишь конфискацией двух пузырьков чернил.

10 мая.

8-го числа в Екатеринбург приехал Колчак, и в связи с этим в конторе спешно составляется список арестованных. Зачем?

Запоздавшее, но поучительно-характерное для колчаковщины, сообщение: в первые дни арестов во временные женские тюрьмы (в гостином дворе и в 1-й полицейской части) ночью врывались казаки и хулиганы-студенты и чинили насилие над женщинами. Расследования не было.

20 мая.

Все те же волнующие слухи с воли.... Самые разнообразные. „Урал" просит не верить, а между тем—факты на лицо: „правитель" переехал из Екатеринбурга куда-то, штаб сибирской армии уехал, чехо-словаки давно умыли руки....

Тем не менее новых арестантов все прибывает.

Последние №№ „Н. Урала“, с корреспонденцией о волнениях и восстаниях, оживили палату....

23 мая.

Что-то там за каменными стенами творится—видимо идет „последний и решительный бой“. В этом признаются даже „Отеч. Ведомости“... „На западном фронте мы в тисках“. Расписываются в неудаче белых, и тут же: „дни большевизма сочтены“. 300 дней, однако, прошло, как „дни сочтены“.

Все это живо волнует палату № 1. И ясно вырисовываются два чувства заключенных—надежда и страх.

— Может быть выпустят отсюда живыми. Или расстреляют раньше, чем придет свобода.

Вопрос остается вопросом.

29 мая.

Третьего дня минуло 10 месяцев тюрьмы. С воли сообщают из лагеря белых все „о последних днях большевиков“, а наряду с этим—показатели разрухи в их стане, как приказ, например, гласящий, „что у изменников солдат, перебежавших к красным, или добровольно служащих им, будет отбираться все имущество и передаваться солдатам, оставшимся верными „временному правительству.

5 июня.

Снова большой перерыв... Причина — временная пропажа дневника.

За это время без конца вести и слухи, открывающие светлые горизонты.

„Красные идут“—это слово на устах у всех..... .

Устал я, и тяжело записывать рассказы об истязаниях, пережитых заключенными... Но занесу в „анналы" может быть последнее повествование.

Рассказчик—рабочий Дм. Полетаев из Кунгура.

Составлял я ему прошение уполномоченному по охране. И вот передо мной красноречивый документ, смоченный кровью и слезами:

„С начала арестовали меня на 8 суток, но за недоказанностью обвинения выпустили. На второй день рождества на квартиру явилось 6 офицеров из армии Колчака, приказали одеться, вывели во двор и там избивали плетями до потери сознания.

Дома оставались жена и трое детей—младшему 2 года—и слышали мой „рев"; младший сынишка забрался под кровать. Жена была вне себя... Когда я, вес избитый, на корточках, вполз в комнату, вижу: жена схватила нож и хочет убить себя.

Не вырви я у ней в эту минуту нож, было-бы....

Посейчас не знаю, что с семьей—10 писем без ответа.

Избитого Полетаева оставили было дома, но в канун нового года снова нагрянули. Обыск, забрали все имущество, и жену П-ва „оставили в одной юбке". Затем самого П-ва отправили в часть, а через несколько дней—в Екатеринбургскую тюрьму.

И вот уже 6-й месяц никаких сообщений—за что посадили, на сколько времени.

Окончив свой рассказ, Полетаев не выдержал и заплакал. Тяжело было и мне.

О, довольно, довольно этих кровоточащих документов.

9 июня.

Что особенно примечательного за эти дни?

Во „внутренней жизни“ больницы разве то, что, несмотря на голод, отказались от совершенно несʼедобного „супа“—сущие помои.

Газеты с большими пробелами—видно есть, о чем надо молчать. Зато четким шрифтом напечатано сообщение из Омска о суде над 17-ю гражданами, виновными в принадлежности к партии коммунистов. Приговор: 11-ти смертная казнь...

13 июня.

Сегодня утром—побег 3-х из барака. Из умывальной вижу—как солдаты бегут ловить, с винтовками на перевес. Выстрелы, крики.... В итоге сбежал один, другой убит, а третьего привели избитого до полусмерти.

17 июня.

Из газетной информации знаменательное „воззвание“ к красным, с обещанием „при добровольном к белым переходе—полного прощения“, даже более того.....

Больным уколом для меня являются анонсы в газетах о „развлечениях“ в бывшем Харитоновском саду, сначала превращенном колчаковцами в низкопробный шантан... Сколько труда было положено на очистку авгиевых конюшен, и вот.....

23 июня.

Скрывать правды больше нельзя, хотя попрежнему „просят не верить“; из Екатеринбурга бегут. Город разгружается, войска—по слухам—размещены по окрайным деревням. А красные уже близки к Перми.

Жизнь же в мертвом доме идет своим порядком,—пока никаких отражений.

6 июля.

Много событий „за стеной“ за эти дни: красные надвигаются, взяли Пермь и Кунгур.

Печально завыли, с позволения сказать, газеты. Спешат пересматривать наши дела. Екатеринбург теперь—взбаламученное море.

Даже то, что мы видим урывками из окон корридора, много говорит нам: с утра два потока беженцев —по приказу из Екатеринбурга и без приказа—из окрестных мест в город. В несколько рядов тянутся оттуда возы с домашним скарбом, с привязанными сзади коровами и лошадьми.

А людный поток из уезда заполнил, говорят, все городские площади; монастырь же заполнен „духовными отцами“ из деревни.....

Все это жадно впитывают в себя заключенные....

„Что день грядущий нам готовит?“

8 июля.

На прощанье колчаковская юстиция устроила нам „передопрос“, на манер средних веков, под открытым небом.

На прогулочном дворе поставлен ряд столов, за которыми важно заседали судьи (между ними не мало юнкеров-золотопогонников). Нас вызывают целыми партиями, и по 5-6 человек допрашивают с редкой быстротой.

К чему эта комедия?...

10 июля.

Как и надо было ожидать, она была ни к чему—ни вчера, ни сегодня допрос под открытым небом не возоб-

новлялся и никаких практических результатов вчерашнее заседание не имело, хотя многим обещали освобождение.

Да и до того ли им теперь, когда наши спасители —красные с каждым днем все ближе к Екатеринбургу.

Затревожилось и тюремное начальство: из окон видно, как повсюду нагружают „делами“, шнуровыми книгами и прочей дрянью тюремной конторы. Очевидно, собираются бежать.

А волна беженцев из города все ширится: видно, как по площади мимо Ивановского кладбища тянется 7-8 рядов повозок, за ними пешие тащат с собой скот, слышно мычание коров, ржание лошадей—настоящее переселение народов. Порой в эту лавину беженцев ворвется конный отряд, тоже удирающий, возы останавливаются, образуется затор, доносятся крики, проклятья...

А сзади притекает новая волна бегущих.

Настроение обитателей больницы повышенное, нервное, выжидающее.

Всеми правдами и неправдами пробираются в коридор к окнам, лепятся к решеткам, наблюдают бегущих, обмениваются впечатлениями.

Старшие надзиратели приуныли и сильнее теснят нашу братию.

Тоже выжидают...

Последние дни.

(12, 13 и 14 июля).

Тревожные это были дни, в которые светлые надежды чередовались с самыми мрачными ожиданиями... близкого конца.

До последней минуты над головами нашими висел вопрос: оставят-ли в живых до прихода красных, или...

А основания опасаться были: „высшее“ тюремное начальство бежало и оставило нас на попечение старика-привратника и нескольких надзирателей, из молодых, —старые „менты“ убрались с начальством.

А в тюрьме стали появляться опричники-военные, вроде известного истязаниями верх-исетских рабочих, Ермохина, и пытались распоряжаться по-своему.

Памятны остались на всю жизнь 3 последние дня перед приходом красных,—ими я и закончу свое повествование.

12-го июля памятно кошмарной ночью, во время которой происходила последняя „эвакуация“.

На самом деле по всему видно было, что уводили людей на расстрел.

Прежде всего дико было, что партии стали „сбивать“ в 12-м часу ночи.

Мы в больнице улеглись уже спать, как вдруг слышим лязг чугунных ворот, топот по двору сапог и неистовые крики:

— Собирайся! Живо! выходи во двор!

И все это пересыпалось трех-этажной руганью. Порой раздавался одиночный выстрел... Не трудно было убедиться—и об этом нам крикнули со двора,—что конвой пришел пьяным и творил что только ему угодно.

И что только делали в корпусе в эту ночь?

Напоенные кем следует, конвойные бросались в камеры с ругательствами, торопили заключенных, били „опаздывающих“ прикладами, неистово орали...

Увидев, что некоторые берут с собой бутылки с молоком или просто с водой, выхватывали из рук и с азартом бросали через окна во двор, разбивая при этом и стекла.

Звон от разбиваемых вдребезги о камень бутылок гудел в ушах... И над всем этим висела пьяная, безобразная ругань.

Наша палата всполошилась—ведь возможно, что и за нами придут.

Некоторые оделись, приникли к окнам, и ждали.

Помню, особенно подвергшийся панике шарташский житель Л., крикнул мне от окна испуганным голосом:

— Чего же вы, т-щ Г—в, лежите? Одевайтесь!

— Зачем спешить? ответил я,—когда за нами придут, оденемся.

Долго еще продолжалась вакханалия самоуправства в корпусе.

И каждую минуту ждали мы, вот-вот ворвутся, возьмут...

Чтобы забаррикадировать дверь койками, один из больных потащил к двери коечные доски, табурет.

Но это показалось смешным.

Наконец „партию" во дворе собрали, выстроили в шеренгу и под непрерывные ругательства и окрики повели в ворота.... Больницу не тронули.

Следующая ночь, – с 13 на 14-е июля, тоже памятна по-своему.

Днем 13-го пронесся слух, что задержавшиеся в Екатеринбурге белые бегут ночью брать из тюрьмы „по своему списку" политических на расстрел....

Что предпринять?

Совещались и решили: так как пропуск в тюрьму теперь всецело зависит от привратника, на попечение которого оставлена вся тюрьма, то решили просить его не впускать самозванцев, и дать взятку.

Собрали 500 руб. (для тогдашнего времени это были большие деньги) и пригласили.

Переговоры кончились успехом: обещал не пускать.

Отказался только удовлетворить вторую просьбу— оставить на эту ночь палату незапертой („Вслучае нагрянут хулиганы, разбежаться можно").

— Нет, - категорически заявил старый служака,—это уж не по правилам будет.

Настала ночь...и редко кто заснул в эту долгую—долгую ночь.

Прислушивались к малейшему шороху, стуку и разговору во дворе.

Вот, кажется, стучат в ворота.

Кое-кто бежит к окнам.

— Нет. Почудилось, вероятно....

С облегченным сердцем увидали брезжущий рассвет.

Утром узнали, что опасность была и миновала.

Какая то компания убийц ночью явилась, стучала у ворот и требовала впустить их, чтобы взять политических по имеющемуся у них списку.

Но мудрый привратник нашелся ответить, что начальник тюрьмы не оставил ему списка заключенных, и он совершенно не знает, кто уголовный, кто политический. и на свою ответственность выдачу заключенных по непроверенному списку не возьмет.

Это спасло нас.

Жаждавшие новых жертв поругались у ворот и ушли.

„Товарищи, вы свободны!".

Эти дорогие слова мы услышали в следующую ночь —14 июля 1919 года.

День этот весь прошел в волнении и в радостном ожидании идущей к нам на выручку Красной Армии.

У белых наблюдалась полная деморализация.

С утра к тюрьме приставили—было какой-то новый караул, но через несколько часов его сняли и оставили нас в ведении надзирателей.

Среди них преобладала молодежь, видимо тоже ожидавшая красных с добрым чувством.

Порой они передавали нам в окно со двора новости —что творится в городе. Там царило уже полное безначалие и начались разгромы магазинов.

До нас дошли залпы орудий и ликующим, радостным эхом отозвались в уставших сердцах.

Это „они“ идут....

Белые протащили мимо тюрьмы и поставили на пригорке у кладбища несколько орудий—обстреливать большевиков.

Но не надолго хватило воинской доблести у белых командиров: прослышали, что в городе грабят универсальный магазин Агафурова, плюнули на все, бросили орудия и поспешили в город принять „посильное участие“ в грабеже.

В этот день мы, помнится, не получили никакого питания, да и не думали о нем.

— Они идут, они близко,—вот всепоглощающая мысль.

Наступал вечер, темнело.... И вдруг мы услышали над нашими головами вихрь летящего снаряда...

Другой, третий...

О, значит красные близко и обстреливают Екатеринбург.

Отвечать им орудийным выстрелом было некому, и скоро гул пролетающих над тюремной крышей снарядов умолк.

Становилось все темнее—надвигалась ночь.

Наиболее экспансивные, нетерпеливо вскарабкались к окнам и затаив дыхание, прислушивались и жадно глядели в темноту.

То-же творится и в корпусе.

В палате царила полнейшая тишина ожидания.

Но вот со стороны Верх-Исетского завода слышу ликующий звон колоколов и затем бурное „ура!“.

— Они вошли, они здесь!

Как электрическая искра обегает эта мысль всех. Чей то звучный голос из окна кричит:

— Товарищи, красные пришли.... Да здравствует Красная Армия. Ур-ра!

Все вскочили с коек, бегут к окнам.

Вся тюрьма, как один человек гремит:

Ур-ра... Ур-ра...

Вслед за бурей восторгов —затишье, и чей то суровый голос из корпуса:

— Подождите, товарищи, ликовать. Не рано ли? Может быть это белые там... празднуют победу...

Но скептика не слушают; и все уцелевшие заключенные превратились в одно ожидание:

— Когда придут к нам?...

Поминутно спрашивают молодого надзирателя, шагающего по двору:

— Ну что? Не пришли еще? Не слышно?

И вот, наконец, голос снизу:

— Пришли, в корпусе сейчас.

Проходит еще несколько минут — как долго тянутся они — и мы слышим шум шагов и оживленные голоса.

Гремит запор, широко отворяется дверь, и в палату входят, сопровождаемые надзирателем с фонарем, четверо красноармейцев.

Запыленные, утомленные, в поту.

— Товарищи, вы свободны, звонким голосом об'являет нам стоящий впереди молодой красноармеец, видимо начальник маленького отряда.

Горячее „ура“, крики „спасибо“. „Спасли вы нас“....

И просьба ко мне:

— Скажите им от нас приветствие.

Отказываюсь, но настоятельно просят.

Взволнованный, с сильно бьющимся сердцем, говорю... Не помню точно что—в памяти осталось лишь главное.

— Приветствую красных орлов... Давно ожидали мы их прилета и твердо верили, что никакие преграды не остановят их. Многие испытания перенесли мы от белых, но испытания закаляют борцов. Теперь будем помогать общему великому строительству.

Спасибо, дорогие товарищи, вы воскресили нас из мертвых......

Снова бурное „ура“, рукоплескания, поцелуи.

Начальник отряда хочет отвечать.

— Товарищи, начинает он, не за что нас благодарить. Мы лишь исполняем свой долг, мы сами спешили сюда, чтобы негодяи вас... не замучили ....

Тут голос юноши дрогнул, срывается и он.... плачет.

В смущении я бросаюсь к нему, обнимаю, успокаиваю......

Горячий поцелуй соединяет наши души.

Через минуту т. т. красноармейцы идут освобождать корпус.

С непокрытой головой, в чем был, спешу я в полутьме за ними.

Впереди надзиратели с фонарями и связкой громадной ключей.

Проходим через двор, мимо женской тюрьмы: у окон теснятся женщины, с воодушевлением поют „Интернационал“.

Взбираемся по узкой лестнице в „крепость“, как величали корпус.

Один за другим падают ржавые запоры тюремных камер, визжат на петлях проклятые двери и всюду несем мы весть:

Товарищи, вы свободны!

В ответ—нестройное, но воодушевленное „ура“ в некоторых камерах короткие приветствия красным.....

Обошли всю тюрьму—все двери, открыты; т. т. красноармейцы уходят в город, рекомендуя пока что самим устанавливать порядок в тюрьме.....

Сейчас же у главного входа во дворе организуется митинг.

Избирается председатель, ставящий вопросы, и между ними: „как быть с уголовными?“.

Но многие не интересуются этим и рвутся на свободу.

Предостерегают дождаться рассвета, так как у тюрьмы может быть засада белых.

Выхожу за ворота... Какое это великое непередаваемое чувство свободы после почти года проклятого застенка.

И первое, что вижу—громадное зарево, языки огня и клубы дыма над пассажирской станцией; это—последнее „славное дело“ негодяев—белогвардейцев.

Подожгли оставшиеся вагоны с ценным грузом, и вагонные мастерские.

Огонь разливается широкой рекой....

А это что за шум вблизи?

Присматриваюсь, различаю в темноте длинный ряд орудий, лошадей, верховых.

Это красная артиллерия вступает в Екатеринбург.

Добро пожаловать, милые, родные.......

Уже совсем рассвело, когда я, нагруженный своими вещами, покидаю застенок.

Легко и свободно дышется.

Из-за крутого холма показывается солнце и радостным светом заливает взборожденную равнину.

Путь новой светлой жизни озаряет животворящее солнце.

„Дню вчерашнему забытье,
Дню грядущему—привет!“.

Крым.
Новый Симеиз.
19-28/VII-22 г.



Уралобллит № 1863. Екатеринб., тип. „Гранит“ Акц. О-ва Уралкнига. Зак. № 2083.



Хромо-Литография Акц. О-ва Уралкнига Е-К-Б. 1923 г.

Уралобллит № 1863.

